# ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

## Власть языка и язык власти как постмодернистский контекст исторических исследований

*А. К. Егоров, Е. В. Каменев*

**Для цитирования:** *Егоров А. К., Каменев Е. В.* Власть языка и язык власти как постмодернистский контекст исторических исследований // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2018. Т. 63. Вып. 2. С. 506–521. https://doi.org/10.21638/11701/spbu02.2018.212

В статье рассмотрена теория и практика применения постмодернистских подходов в исторической науке. Показано, что в рамках постмодернистской парадигмы история мыслится не как наука о прошлом, а как искусство интерпретации текстов. Историческая интерпретация не может ограничиваться буквальным пониманием текста исторического источника, поскольку помимо денотативного смысла в нем присутствуют еще и коннотативные смыслы. И если для понимания денотативного смысла достаточно знать язык, на котором написан текст, то для выявления коннотативных смыслов требуются исследовательские процедуры, отсутствующие в позитивистской методологии. Вторичные смыслы не присутствуют в тексте непосредственно, они формируются на основе интертекстуальных связей исторического источника. Постмодерн предоставляет историку инструмент для работы с текстом на уровне языка культуры. Этим инструментом является деконструкция текста. Кроме того, постмодерн видит социальную реальность прошлого как реальность, которая лишена единого центра и пронизана отношениями власти. Отношения власти одновременно и составляют сущность социальной реальности, и влияют на формирование субъекта, в этой реальности живущего. Власть в таком понимании выходит за пределы органов государственного управления, обнаруживаясь в самых неожиданных местах, например в повседневной жизни людей. Кроме того, с точки зрения такого подхода, власть не подавляет человека, а дает ему определенную свободу действий, без которой властные отношения оказываются

*Александр Константинович Егоров* — канд. ист. наук, независимый исследователь; akegorov@yandex.ru

*Евгений Владимирович Каменев* — канд. ист. наук, доц., Петрозаводский государственный университет, Российская Федерация, 185910, Петрозаводск, ул. Ленина, 33; ev.kamenev@yandex.ru

*Alexander K. Egorov* — PhD in History, Independent Researcher; akegorov@yandex.ru

*Evgenii V. Kamenev* — PhD in History, Associate Professor, Petrozavodsk State University, 33, ul. Lenina, Petrozavodsk, 185910, Russian Federation; ev.kamenev@yandex.ru

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2018

невозможны. Социальная реальность становится ареной борьбы множества тактик действия и противодействия, победа в которой не гарантирована ни одной из сторон. В статье рассмотрен также ряд исторических исследований, теоретико-методологический аппарат которых учитывает идеи постмодерна. Показано, что оба постмодернистских подхода обладают большой познавательной ценностью при их применении к историческому материалу, но требуют от историка отказа от ряда позитивистских установок и большой методологической смелости.

*Ключевые слова:* историческое исследование, постмодернизм, язык, субъект, текст, власть.

## Power of Language and Language of Power as Postmodernist Context of Historical Research

*A. K. Egorov, E. V. Kamenev*

**For citation:** Egorov A. K., Kamenev E. V. Power of Language and Language of Power as Postmodernist Context of Historical Research. *Vestnik of Saint Petersburg University. History*, 2018, vol. 63, issue 2, pp. 506–521. https://doi.org/10.21638/11701/spbu02.2018.212

The article deals with the theory and practice of postmodernist approach to historical research. It is shown that historical interpretation cannot be limited to the literal understanding of a historical source, since it also contains connotative meanings, in addition to denotative ones. In order to understand the denotative meaning of the text, it is sufficient to know the language of the text, but to reveal connotative meanings it is necessary to resort research procedures that positivist methodology is lacking. Postmodernism provides the historian with a tool for working with the text within the framework of the language of culture. This tool is the deconstruction of the text. In addition, postmodernism considers the social reality of the past as a reality that is devoid of a single center and is permeated with relations of power. The relations of power both constitute the essence of social reality, and affect the formation of the subject living in this reality. In this sense power goes beyond the state apparatus. It is found in the most unexpected places, for example, in the everyday life of people. Besides, the power does not suppress an individual, but gives him or her a certain freedom of action, without which power relations are impossible. Social reality is the arena of the struggle between multiple tactics of action and counteraction. The article also examines a number of historical studies whose theoretical-methodological apparatus takes into account the ideas of postmodernism. It is shown that postmodern approach has a great cognitive value when applied to historical material.

*Keywords:* historical study, postmodernism, language, subject, text, power.

*Мы устали от дерева.*
*Мы не должны больше верить деревьям,*
*их корням, корешкам,*
*мы слишком пострадали от этого.*

Ж. Делёз, Ф. Гваттари.
Капитализм и шизофрения

Постмодернизм в исторической науке представляет собой странное явление. С одной стороны, нет, пожалуй, историков, которые не были бы с ним знакомы. Уже давно переведены на русский язык труды основоположников этой интеллек-

туальной традиции, и в их цитировании нет ничего предосудительного. Все чаще правилом хорошего тона при изучении проблем власти становится ссылка на работы М. Фуко, а анализ текста исторического источника, бывает, не обходится без обращения к идеям Р. Барта. С другой стороны, на конкретные вопросы, в чем же заключается постмодернистская стратегия исследования прошлого и кто конкретно использует постмодернистский подход к истории, не так уж легко получить однозначные ответы.

Формирование постмодернизма относится к рубежу 1960-х — 1970-х годов. Именно в этот период вышли работы, предлагавшие принципиально новую стратегию работы с текстом — деконструкцию[1]. Захватив первоначально литературоведческое поле, постмодерн постепенно проник в другие социальные и гуманитарные науки. Не осталась в стороне и историческая наука. Жан-Франсуа Лиотар определил постмодерн как недоверие в отношении метарассказов[2]. Это недоверие коснулось и исторического метанарратива, изменив отношение как к исторической науке, так и к идее объективного исследования прошлого. Неизбежная трансформация философских и методологических основ исторической науки, вызванная постмодернизмом, стала предметом известной историографической рефлексии. В 1990-е и 2000-е годы вышел ряд работ, посвященных реакции исторической науки на вызов постмодерна[3]. С тех пор, однако, миновал сравнительно большой период, который позволяет вновь обратить внимание на состояние современного исторического знания, отмеченного постмодерном.

Одним из основных понятий, вокруг которого выстраивается философия постмодерна, является понятие языка. Между объективной реальностью и познающим ее субъектом лежит язык, который призван ее описывать, причем описывать адекватно. Однако нужно учитывать, что объективная реальность, взятая сама по себе, обретает фиксированный смысл только в том случае, когда получает языковое описание. Язык при этом не является просто посредником, объективно передающим реальное положение дел. Он перекраивает реальность в соответствии со своей структурой, отбирая в реальности только то, что может быть названо, т. е. то, на что может быть навешен словесный ярлык. Причем делает он это очень тонко: носитель языка (говорящий и пишущий субъект) не замечает, что он находится во власти языка, освободиться от которой не может (помимо языка у него нет никаких средств осмысления мира) и потому оказывается лишь посредником между реальностью и языком.

Проблема роли языка в конструировании реальности была актуализирована в исторической науке, обусловив лингвистический поворот в историографии.

---

[1] Термин «деконструкция» был введен Ж. Деррида в работе «О грамматологии» (1967). Образцом деконструктивистского подхода к анализу литературного текста является эссе «S/Z» Ролана Барта, вышедшее в 1970 г.

[2] *Лиотар Ж.-Ф.* Состояние постмодерна. М.; СПб., 1998. С. 10.

[3] См., напр.: *Миронов Б. Н.* Пришел ли постмодернизм в Россию? Заметки об антологии «Американская русистика» // Отечественная история. 2003. № 3. С. 135–146; *Репина А. П.* Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и интеллектуальной истории // Одиссей. Человек в истории. Ремесло историка на исходе XX в. М., 1996. С. 25–38; *Филюшкин А. И.* Постмодернистский вызов и его влияние на современную теорию исторической науки // Топос. Философско-культурологический журнал. 2000. № 3. С. 67–78; *Breisach E.* On the Future of History. The Postmodern Challenge and its Aftermath. Chicago; London. 2003. P. 115; *Iggers G.* Historiography in the Twentieth Century — From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Hanover (N. H.); London, 1997. P. 118.

Актуализация этой проблемы при изучении прошлого, впрочем, неудивительна. Историк в отличие от представителя естественных наук не имеет в своем непосредственном распоряжении исторического прошлого как реально существующего объекта исследования. Прошлого в объективной реальности не существует, есть только тексты исторических источников, говорящие о нем. Историк имеет дело не с реальностью, пусть и канувшей в лету, а с ее языковым описанием в виде текста источника, т. е. с ее интерпретацией. Историк, как заметил Ю. М. Лотман, обречен иметь дело с текстами[4]. Кроме того, историческая наука лишена собственного языка как средства описания прошлого (в отличие, например, от химии или математики). Историк рассуждает о прошлом на обыкновенном естественном языке, который отличается от формального своей многозначностью, неточностью.

Таким образом, объект и инструмент исследования, а также готовый продукт исторической науки в виде научного текста, повествующего о прошлом, являются исключительно языковыми. Поэтому с позиций постмодерна историю следует назвать интерпретацией интерпретаций. Такой позиции придерживаются современные теоретики исторической науки. Согласно Ф. Анкерсмиту, исторические нарративы — это интерпретации прошлого. Причем термин «интерпретация», по мнению ученого, более адекватен для понимания историографии, чем термины «описание» и «объяснение»[5].

Этот взгляд на историческую науку имеет далеко идущие последствия, ибо он выбивает из-под нее все претензии на позитивистскую научность. История перестает быть наукой о прошлом и становится искусством интерпретации текстов. Поскольку критериев для определения правильности той или иной интерпретации не существует (нельзя сверить интерпретацию с объективной реальностью прошлого ввиду ее отсутствия), каждая интерпретация может стать «правильной». В этом смысле саркастическая фраза «сколько историков, столько и историй» в рамках философии постмодерна получает право на существование.

Отказывая истории в научности, постмодерн сближает исторический нарратив с литературным[6]. Одним из самых авторитетных постмодернистов, обративших свое внимание на практику историописания, был Ролан Барт. В своем эссе «Дискурс истории» он ставит вопрос о том, «вправе ли мы и дальше противопоставлять друг другу поэтический и романический дискурс, вымышленное повествование и повествование историческое»[7]. Будучи признанным мастером текстового анализа, Р. Барт обращает свое внимание на структуру исторического повествования. За основу своего анализа он берет тексты Геродота, Макиавелли, Боссюэ и Мишле. Анализ работ этих авторов позволяет Барту говорить о том, что историческое повествование не отличается по своей сути от литературного. Исторический дискурс не относит нас к объективному прошлому, ибо он «представляет собой прежде всего идеологическую, точнее, воображаемую конструкцию»[8].

---

[4] *Лотман Ю. М.* Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. М., 1996. С. 301.

[5] *Анкерсмит Ф. Р.* История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2009. С. 69.

[6] В этом смысле постмодернизм может рассматриваться как современный романтизм (*Southgate B.* History meets fiction. Harlow; New York, 2009. P. 31).

[7] *Барт Р.* Дискурс истории // Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. С. 427.

[8] Там же. С. 438.

Дело в том, что исторический факт, в возможность реконструкции которого верит позитивистская историография и который мыслится в ней как кирпичик объективной реальности прошлого, оказывается не более чем языковым феноменом: «факт обладает лишь языковым существованием (как элемент дискурса), но при этом все происходит так, будто его существование — просто "копия" какого-то другого существования, имеющего место во внеструктурной области, в "реальности"»[9]. Сходной позиции придерживается Хейден Уайт. Историк, согласно Уайту, сам создает факты прошлого: «События происходят и отражаются — более или менее адекватно — в документальных источниках и памятниках; факты концептуально конструируются в мысли и/или фигуративно в воображении и существуют только в мысли, языке и дискурсе»[10]. Согласно другому теоретику исторической науки, Джоржу Иггерсу, основная идея постмодернистской теории историографии заключается в отрицании того, что исторический текст повествует о фактическом (объективном) историческом прошлом[11].

Постмодерн ставит под сомнение само понятие доказательности в историописании. Историческое доказательство строится не столько на основе строго логических процедур и оперирования фактами (факт есть не более чем языковой конструкт), сколько на основе использования риторических приемов. Именно поэтому чем убедительнее пишет историк, чем лучше владеет языком, тем больше доверия к его выводам. В эссе «Эффект реальности» Барт показал, что исторический текст строится на основе тех же способов, что и текст художественный. Историки, как беллетристы, используют языковые средства, которые нужны им исключительно для создания «эффекта реальности» описываемых событий или явлений[12].

Хейден Уайт на основе анализа работ историков и философов истории XIX в. (Ж. Мишле, Л. Ранке, А. Токвиля, Я. Буркхардта, Г. Гегеля, К. Маркса, Ф. Ницше, Б. Кроче) показал, что важную роль в конструировании прошлого играют риторические приемы, а сама практика историописания является литературной по своей сути: «Пока историки продолжают использовать грамотные речь и письмо, — пишет Х. Уайт, — их репрезентация феноменов прошлого, равно как и мысли о них, останутся "литературными" — "поэтическими" и "риторическими" — отличными от всего, что считается специфическим "научным" дискурсом"»[13].

Поскольку понятие исторической доказательности ставится постмодерном под сомнение, размываются и границы самого понятия исторической правды (т. е. того, что «было на самом деле»). Правда оказывается множественной, временной, явно зависящей от того идеологического контекста, в рамках которого рассуждает историк. Постмодернистская концепция правды, по мнению Эрнста Брайзаха (Ernst Breisach), должна в перспективе привести к пересмотру исторической эпистемологии, если не к ее отрицанию[14].

---

[9] Там же. С. 438.

[10] *Уайт Х.* Метаистория: историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002. С. 11.

[11] *Iggers G.* Historiography in the Twentieth Century… P. 118.

[12] *Барт Р.* Эффект реальности // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 392–400.

[13] *Уайт Х.* Метаистория… С. 7.

[14] *Breisach E.* On the Future of History… P. 115.

Во всех этих идеях мы усматриваем распространение на историописание знаменитого тезиса Ж. Деррида: «вне текста не существует ничего»[15]. Не историческая реальность создает текст, а текст создает историческую реальность. И только в рамках текста прошлое получает право на существование. Постмодерн сформулировал новую стратегию исследования прошлого, которая исходит из признания невозможности воссоздания объективной реальности прошлого. В рамках этой стратегии единственное, на что может надеяться историк, так это на понимание того, как прошлое «создавалось» автором исторического источника. Постмодерн призывает не ограничиваться буквальным пониманием[16] текста исторического источника. Любой текст, написанный на естественном языке, имеет два семиотических уровня. Помимо буквального в нем присутствует еще и культурно-обусловленный. И если для понимания буквального смысла достаточно знать язык, на котором ведется повествование, то с культурно-обусловленными смыслами[17] дело обстоит значительно сложнее. Коннотативные смыслы, по выражению Г. К. Косикова, латентны и диффузны: «они никогда прямо не называются, а лишь подразумеваются и потому могут либо актуализироваться, либо не актуализироваться в сознании воспринимающих; <…> один материальный предмет или знак естественного языка может иметь несколько коннотативных означаемых, и наоборот, одному такому означаемому может соответствовать несколько денотативных знаков-носителей, так что слой коннотативных означаемых оказывается рассеян по всему дискурсу»[18]. Эти смыслы «работают» на уровне вторичной коннотативной знаковой системы, которая, как и любая другая знаковая система, имеет свои свою семантику, синтактику и прагматику. Функционирует эта знаковая система на уровне культуры и выходит за пределы изучаемого произведения. Для выявления таких смыслов необходимо знать грамматику языка культуры, в которой этот текст создавался и в которой он прочитывался современниками.

Вторичные смыслы не присутствуют в тексте непосредственно, они формируются на основе интертекстуальных связей произведения. Ключевую роль играют при этом явные и скрытые отсылки к текстам, прецедентным для данной культуры. Постмодерн предоставляет исследователю инструмент для работы с текстом на уровне языка культуры. Этим инструментом является коннотативная семиотика, которая позволяет провести деконструкцию текста. Образцом деконструкции повествовательного текста является эссе Ролана Барта «S/Z», в котором выявлен пласт коннотативной информации в тексте бальзаковского «Сарразина»[19].

Так ли обстоит дело с историческими источниками? Применимы ли к историческим текстам исследовательские стратегии постмодерна? Да, но с одним условием. Отличие постмодернизма в истории от чистого (литературного) постмо-

---

[15] *Деррида Ж.* О грамматологии. М., 2000. С. 319.

[16] Под буквальным смыслом мы понимаем смысл, заданный естественным языком как первичной знаковой системой.

[17] Под культурно-обусловленным смыслом мы понимаем коннотативный смысл, который в отличие от денотативного не фиксируется в словарях. Коннотативные смыслы функционируют на уровне вторичной знаковой системы и имеют форму ассоциаций и реляций (*Барт Р.* Текстовой анализ одной поэмы Эдгара По // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989, С. 426).

[18] *Косиков Г. К.* Ролан Барт — семиолог, литературовед // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 17.

[19] См.: *Барт Р.* S/Z. М., 2001.

дерна — не отказ от интерпретации интерепретаций, а поиск той интерпретации, в которой текст воспринимался его современниками. Другими словами, это не поиск всех потенциально возможных путей смыслообразования, как это делал Ролан Барт в отношении литературного повествования, а поиск только тех, которые были актуальны для культуры, этот текст породившей.

Традиционное источниковедение не ставит вопрос о смысловой многоуровневости текста исторического источника и не предоставляет исследователю инструменты для анализа смысловых пластов текста, отличных от денотативного. Позитивистская парадигма работает по преимуществу с информацией, зафиксированной на уровне естественного языка как первичной знаковой системы. Для этого от историка требуется владение этим языком, корректный перевод анализируемого текста. Для анализа информации, зафиксированной на уровне вторичной коннотативной знаковой системы в рамках позитивистской парадигмы попросту нет соответствующих исследовательских процедур. Коннотативные смыслы источника выявляются благодаря исследованию интертекстуальных связей произведения, характерных для культуры его породившей, и для их анализа требуется деконструкция теста.

Постмодерн позволяет «преодолеть одномерное отношение “структура — произведение” и выйти в многомерное пространство Текста (Р. Барт)»[20]. Другими словами, постмодерн различает *Текст* и *Произведение*[21]. Постмодернистское понятие *Произведение* сходно с понятием исторического источника в том виде, в каком его рассматривает позитивистская наука. Произведение исчислимо (оно «есть вещественный фрагмент»), оно имеет определенный смысл и содержание[22].

Классическая методика работы с историческим источником предполагает его источниковедческую критику. В том случае, если источник прошел процедуру критики, информация, содержащаяся в нем, признается основой для воссоздания картины объективной реальности прошлого. Постмодерн, исходя из оппозиции «Произведение — Текст», предлагает иную процедуру работы с текстом исторического документа. Он предоставляет исследовательские инструменты, которые позволяют выйти за рамки источника (понимаемого как Произведение) в пространство Текста, его породившего, в рамках которого исторический источник благодаря интертекстуальности приобретал культурно обусловленные смыслы. Внимание исследователя переносится на явные и скрытые цитаты, аллюзии и реминисценции в документе и проведение межтекстовых связей изучаемого текста с прецедентными текстами культуры, его породившей. В итоге получается реконструкция межтекстового «диалога» и, как следствие, выявление культурно-обусловленных смыслов в изучаемом документе. Однако если литературный постмодерн говорит об учете текстов, появившихся в том числе и после создания изучаемого Произведения, то в исторической науке, что очевидно, следует учитывать только тексты, предшествовавшие и современные данному источнику.

---

[20] *Косиков Г. К.* «Структура» и/или «текст» (стратегии современной семиотики) // Французская семиотика. От структурализма к постструктурализму М., 2000. С. 35.

[21] Для того чтобы не возникло разночтений, слова *Текст* и *Произведение в* том значении, в каком они используются в бартовской оппозиции, мы будем писать с заглавной буквы.

[22] Подробнее об оппозиции *Произведение — Текст* см.: *Барт Р.* От произведения к тексту // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 413–423.

В этом смысле обращает на себя внимание исследование древнерусского летописания И. Н. Данилевским в монографии «Повесть временных лет: герменевтические основы источниковедения летописных текстов»[23]. И. Н. Данилевский показал, что текст Повести временных лет построен по принципу многоярусной семантики[24]. Помимо буквального уровня, на который обращали свое внимание историки-позитивисты, в нем присутствует еще и культурно обусловленный. Речь идет о так называемом центонно-парафразном принципе строения древнерусских текстов: «…произведение Даниила Заточника… является классическим примером применения центонно-парафразного принципа: оно состоит практически целиком из цитат, являясь в то же время вполне оригинальным произведением, имеющим замысел, сюжет и достаточно четкую структуру… Начальные русские летописи, в том числе Повесть временных лет… включают весьма пестрый материал — по большей части, прямые или косвенные цитаты предшествующих текстов»[25]. В сущности Повесть временных лет как Произведение возможно понять, учитывая тот Текст в бартовском смысле этого слова, который ее окружал.

В чем же заключается стратегия исследования таких текстов? Особенностью центона является «память контекста». Согласно И. Н. Данилевскому, «для древнерусского читателя, (и на это, несомненно, рассчитывали авторы “оригинальных” текстов) всякая цитата, в том числе и немаркированная, не только легко узнавалась, но и неизбежно отсылала его к “тексту-предшественнику”, заставляя вспомнить прежний контекст, из которого она вырывалась. Таким образом, создаваемый текст не только связывался со своими литературными истоками, но и последние приобретали совершенно новые, порой неожиданные связи — как с современными им, так и с предыдущими и последующими произведениями. Чтение же текстов, построенных по центонно-парафразному принципу, превращалось в изощренную интеллектуальную игру. “Игроку”-читателю надлежало не только правильно определить прямую или косвенную цитату, но и уловить новые смысловые нити, связывающие уже знакомые ему образы с лежащим перед ним новым описанием. Тут, собственно, и рождались те смысловые структуры, которые автор транслировал читателям текста»[26].

Задача историка как раз и состоит в том, чтобы пройти по заложенному автором изучаемого текста пути смыслообразования. Разумеется, это требует прекрасного знания того круга текстов, с которыми в явном и скрытом виде вступало в диалог данное произведение. Методика анализа текста, учитывающая центонно-парафразный принцип построения летописи, позволила И. Н. Данилевскому получить новаторские результаты. Важно отметить, что реконструкция культурно

---

[23] *Данилевский И. Н.* Повесть временных лет: герменевтические основы источниковедения летописных текстов. М., 2004.

[24] Особенности текстов, построенных по принципу многоярусной семантики, исследовал Ю. М. Лотман. Согласно Ю. М. Лотману, в таких текстах «одни и те же знаки служат на разных структурно-смысловых уровнях выражению различного содержания. Причем значения, которые доступны данному читателю в соответствии с его уровнем святости, посвященности, «книжности» и т. д., недоступны другому, еще не достигшему этой степени. Когда читателю “открывается” новый семантический уровень, старый отбрасывается как уже не содержащий для него истины» (*Лотман Ю. М.* Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 75–76).

[25] *Данилевский И. Н.* Повесть временных лет… С. 56.

[26] Там же. С. 59.

обусловленных смыслов текстов, построенных по такому принципу, является верифицируемой[27].

Другой постмодернистский подход к изучению прошлого предложил крупный французский теоретик М. Фуко. Несмотря на то что Фуко также обращал внимание на роль дискурсов в функционировании гуманитарных наук, он фактически не отрицал существования исторической реальности, однако «строение» ее оказывалось совершенно отличающимся от традиционных представлений. Свои теории Фуко развивал именно через историю, рассматривая объекты изучения через их появление и функционирование во времени. Поэтому его идеи для историков очень перспективны. Среди многих идей Фуко следует выделить две: идею власти и идею субъекта.

В понимании М. Фуко власть не является неодолимой тотальной силой, которая подавляет все, что встречает на своем пути. Вместо власти в единственном числе Фуко говорит о многих властях, которые включают в себя множество институтов общества — это политика, религия, семья, медицина, психиатрия, образование, даже место работы[28]. В основе такой множественности лежит то, что власть — не статичная сущность, а действие, при этом не прямо «ломающее» и «уничтожающее» тело или вещь, а более тонкое — воздействие на действия других[29]. Власть, по Фуко, не может функционировать, если объект воздействия власти — индивид или группа — лишен свободы. Власть предполагает свободу и сопротивление на позициях свободы и дает индивиду пространство для маневра. Если такого пространства нет, то речь идет скорее о рабстве, а не о власти. Иначе говоря, власть никогда не доходит в своем осуществлении до предела, когда подчиненный власти индивид полностью подавляется[30]. Власть у Фуко всегда находится как бы под вопросом, ее авторитет всегда кем-то оспаривается, власть — это всегда постоянная борьба за власть и связанные с такой борьбой стратегии. Фуко применяет термин «агонизм»[31] — не прямая вражда, а скорее соперничество, приз за победу в котором — власть. Но и поражение не означает гибель, ибо полное подавление означает и конец власти. «Агонизм» — постоянное и непрекращающееся возобновление борьбы за власть.

Таким образом, власть у Фуко децентрирована, она лишена стабильного центра, она есть целый ряд действий в разных местах в разное время, это «микрофизика власти». Вместе с тем Фуко отказывается от бинарного противопоставления «полная власть / полное подчинение», подразумевая более сложные отношения между властью и подчинением. Применяя свой анализ к современной истории, Фуко высказывает мнение, что две «болезни века» — фашизм и сталинизм — не совсем оригинальны: «Они использовали и расширили механизмы, уже существовавшие в большинстве других обществ. Более того, несмотря на их собственное безумие, они использовали в значительной степени идеи и средства нашей политической рациональности»[32].

---

[27] Там же. С. 60.
[28] *Foucault M.* The Subject and Power // Critical Inquiry. 1982. Vol. 1, N 4. P. 784.
[29] Ibid. P. 788–789.
[30] Ibid. P. 790.
[31] Ibid.
[32] Ibid. P. 779.

Говоря о субъекте, Фуко полагает, что последние несколько столетий на Западе шел процесс превращения человека в субъект. Это превращение происходило при непосредственном участии властных отношений[33]. Власть не только не лишала индивидуальности, но, наоборот, наделяла человека индивидуальными чертами, что позволяло отчетливо «отделить» одного человека от другого и эффективнее им управлять. Парадоксальным образом сформированная при участии власти индивидуальная субъективность человека привязывает его к самому себе и создает условия для отношений власти. При этом процесс индивидуализации происходил непосредственно в повседневной жизни индивида[34].

Идеи М. Фуко хорошо перекликаются с идеями французских теоретиков Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Эти авторы изображают реальность подвижной и изменчивой, лишенной привилегированного центра и стабильной структуры[35]. К такой реальности они применяют термин «ризома», которая противостоит традиционному западному пониманию реальности как дерева с корнями, ориентированному на поиск незыблемых и привилегированных оснований. Ж. Делёз и Ф. Гваттари отмечают, что западный стиль мышления нацелен на снятие с реальности «кальки»-дерева, т. е. на выявление четкой неподвижной упорядоченности, «генетической оси или глубинной структуры»[36]. Такой «кальке» эти авторы противопоставляют «карту»-ризому, которая дезорганизована, нестабильна, множественна, состоит не из стабильных точек, а из линий постоянного движения и изменения. Ризома «открыта… способна к соединению во всех своих измерениях, демонтируема, обратима, способна постоянно модифицироваться»[37].

Выводы, которые мог сделать практикующий историк из этих идей, были очевидны: социальная реальность сложна, и при написании истории нельзя ограничиваться изложением политической истории «верхов», поскольку власть в понимании М. Фуко не замыкалась в рамках центральных учреждений[38]. Одновременно рассуждения М. Фуко об индивидуальности наводили на мысль о том, что человеческая субъективность не есть нечто заданное «от века», она формируется в рамках конкретных властных отношений.

Своего рода посредником между теорией Фуко и практикой историка стал другой французский теоретик, Мишель де Серто. Развивая идеи Фуко, он обратился к рассмотрению основ повседневной жизни, где обнаружил помимо властных стратегий еще и тактики[39]. Он пишет: «Как представляется, различие между стратегиями и тактиками является более адекватной исходной схемой. Я называю стратегией расчет отношений сил (или манипулирование ими), что становится возможным в том случае, когда выделяется субъект воли и власти (предприятие, ар-

---

[33] Ibid. P. 777–785.

[34] Ibid. P. 781.

[35] *Делёз Ж., Гваттари Ф.* Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. Екатеринбург; М., 2010. 896 с.

[36] Там же. С. 21.

[37] Там же. С. 22.

[38] *Foucault M.* Body / Power // Foucault M. Power / Knowledge. Selected Interviews and Other Writings. 1972–1977. New York, 1980. P. 60; *Foucault M.* Truth and Power // Ibid. P. 122. — Из слов Фуко можно заключить, что вопрос власти решался на «более детальном и повседневном уровне». Если мы хотим изучать власть, мы должны изучать повседневность.

[39] Нужно сказать, что и М. Фуко употреблял понятие «тактики». См.: *Foucault M.* Truth and Power. P. 114.

мия, город, научная институция). Стратегия подразумевает существование места, которое может быть отграничено как свое собственное и которое способно стать основанием, исходя из которого оказывается возможно управлять отношениями с внешним пространством, представляющим собой цели или угрозы (клиенты или конкуренты, враги, деревня, окружающая город, задачи и объекты исследования и т. д.)»[40].

По контрасту со стратегиями М. де Серто называет «тактикой рассчитываемое действие, определяемое отсутствием собственного места. В этом случае не происходит отграничения внешнего пространства, обеспечивающего условия автономности. Место тактики — это место другого. Таким образом, она должна использовать территорию, которая навязана ей такой, какой ее организует закон чуждой силы». По М. де Серто, если стратегия используется властью, то тактика — «искусство слабого»[41].

Идеи М. Фуко (напрямую, а также отраженные в творчестве М. де Серто) были использованы американским историком С. Коткиным в его ставшей классической работе «Магнитная гора», описывающей повседневную жизнь в Магнитогорске 1930-х годов[42]. Автор этого труда стремится показать, что повседневная жизнь в советском обществе того времени предполагала целый набор приемов, необходимых и для выживания, и для успешной карьеры[43]. Для описания этих приемов Коткин вводит понятие «тактик среды обитания». Согласно Коткину, жизнь и идентичность советских людей предполагала как активное участие в жизни общества, так и частое «уклонение» и даже сопротивление правилам этого общества. Приемы жизни в советском обществе он сравнивает с боевым искусством дзюдо, когда можно избежать разрушительного воздействия огромной силы противника (даже советского сталинского государства) и обратить эту силу против него в свою пользу[44].

С. Коткин подробно анализирует один из таких приемов-тактик, который он называет «говорить по-большевистски». Дело в том, что процесс социальной идентификации человека как члена советского общества требовал овладения официальным, «большевистским», языком. Именно таким образом, через говорение на официальном языке, выражались и формировались как советская идентичность, так и лояльность советской власти[45]. К примеру, советские рабочие идентифицировали себя как стахановцы или ударники производства, используя, таким образом, официальный советский дискурс для встраивания себя в советский порядок. Той же цели служил ритуал обнародования так называемых «трудовых биографий», необходимый для признания рабочего среди коллег и в советском обществе в целом[46]. Коткин отмечает, что граждане должны были говорить определенные слова и вести себя определенным образом, причем было неважно, верят они в это или нет, — для

---

40 *Серто Мишель де.* Изобретение повседневности. СПб., 2013. С. 109.
41 Там же. С. 110–111.
42 *Kotkin S.* Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1995.
43 Ibid. P. 21–22.
44 Ibid.
45 Ibid. P. 22–23, 198, 237.
46 Ibid. P. 198–218

них было определяющим просто участвовать в процессе, как если бы они верили в то, о чем говорили[47].

Децентрирующий подход, предложенный М. Фуко, Ж. Делёзом и Ф. Гваттари, был эффективно применен в исследовании А. Юрчака, посвященном советскому обществу в последние десятилетия существования СССР[48]. В полном соответствии с этим подходом А. Юрчак фокусирует свое внимание не на функционировании центральных «структур», т. е. центральных органов власти и официального языка. Напротив, он обращает пристальное внимание на реальную жизнь людей, скрывающуюся под видимой официальной поверхностью советского государства. Автор представляет советское общество как «пористую» реальность, состоящую из сообществ «своих», содержание существования которых могло не иметь ничего общего с официальным советским дискурсом и практикой. Существование такой, по сути, параллельной реальности и обусловило в конечном счете неожиданный, но относительно безболезненный для советских людей крах советской системы, когда идеологическое содержание оказалось полностью вымыто реальной жизнью. Позднесоветская социальная действительность, процветавшая под застывшей «коркой» официального советского языка, оказалась слишком разнородной, чтобы советское государство могло существовать в неизменном виде.

Идеи М. Фуко о воздействии властных отношений на формирование субъекта были развиты на конкретном историческом материале Й. Хелльбеком и И. Халфиным[49]. Эти авторы рассматривают формирование советской субъективности как часть коммунистического проекта по созданию нового человека. Й. Хелльбек утверждает, что советская власть требовала от индивидов стать сознательными субъектами[50]. Главными инструментами субъективации, по Й. Хелльбеку, были «текстуальные формы, биографические и автобиографические тексты (автобиографии, ритуалы критики и самокритики, допросы НКВД и стенограммы процессов)», а также физический труд и прямое насилие[51]. Сам автор подробно исследовал дневники раннесоветского периода. Й. Хелльбек выделяет ключевые компоненты советской субъективности: «борьба, выявление врага внутри себя, разрушение “старого человека” ради создания “нового человека”». Как утверждает автор, «прославление силы, здоровья и красоты сочетались с открытым презрением к тем, кто считался слабым, больным и неприспособленным к жизни»[52]. И. Халфин рассматривает коммунистическую автобиографию как средство формирования коммунистического «Я» в контексте проблематики модернового субъекта, определяющегося через способность воспринимать себя как объект собственных творческих усилий[53]. По мнению Й. Халфина, автобиография была способом пересоздания себя, где инстанция «Я» была одновременно и производителем автобиографии, и ее продуктом[54]. Халфин говорит о советской власти как о «пасторской власти», которую в первую

[47] Ibid. P. 202.

[48] *Юрчак А.* Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М., 2014.

[49] *Hellbeck J.* Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Cambridge, 2009; *Halfin I.* From Darkness to Light. Class, Consciousness and Salvation in Revolutionary Russia. Pittsburgh, 2000.

[50] Интервью с Игалом Халфиным и Йоханом Хелльбеком // Ab Imperio. 2002. № 3. С. 219.

[51] Там же. С. 235.

[52] Там же. С. 234.

[53] Там же. С. 221.

[54] Там же. С. 222.

очередь интересовали вопрос сознательности индивида, а также проблема «излечения» «души» индивида от политических болезней через «очищение» — через тексты, «чистки» и насилие[55].

Й. Хелльбек и И. Халфин приходят к парадоксальному выводу — о том, что тоталитарная советская власть сталинского времени не только не подавляла индивида, превращая его в бездушную деталь государственной машины, но, наоборот, активно стимулировала его индивидуализирующую и смыслополагающую деятельность. Ведь власть побуждала индивида к «записи себя» через написание текстов. Но для того, чтобы это было возможно, такая «самость» «Я» должна была одновременно формироваться: чтобы записывать «Я», нужно сначала эту инстанцию иметь хотя бы в зачаточном виде. Более того, как отмечает Й. Хелльбек, «советский пример оказывается любопытным вариантом более широкого европейского феномена, который может быть описан как обязательность наличия индивидуального мировоззрения, "жизни, исполненной предназначения" и в то же время аутентичной…»[56].

В российской историографии идеи М. Фуко о власти, знании и субъекте не стали популярными, если говорить именно об эксплицитном, прямо указываемом историком использовании его идей[57]. Однако на имплицитном уровне идеи Фуко все-таки использовались историками. Дело в том, что российские историки, даже не увлекаясь Фуко и другими теоретиками постмодернизма, читали работы зарубежных историков, в которых эти идеи использовались. Одной такой работой, имплицитно использующей идеи Фуко в качестве концептуальной базы, является монография М. Мееровича о жилищной политике большевиков[58]. В ней автор показывает, как советская власть как бы «распадается» на множество властей на уровне жилища, которое использовалось как способ подчинения, с одной стороны, и как средство формирования нового человека — с другой. Через жилище власть выходила за рамки своих традиционных границ, за стены официальных органов власти, распространяясь на область бытия, ранее бывшую местом формирования интимного пространства частной жизни. Более того, в описанных Мееровичем коммунальных квартирах можно увидеть аналог «паноптикона» И. Бентама, образ которого использовал М. Фуко для описания механизма функционирования властных отношений[59]. М. Меерович прямо говорит о «прозрачности» жизни[60] и «дисциплинарном воздействии»[61]. Жилище сделало власть всепроникающей, спрятаться от нее было некуда, поскольку жилище было общим[62].

М. Фуко отмечал, что для того, чтобы власть могла быть тотальной, она должна была производить «индивидуализацию», собирать подробные данные о каждом

---

[55] Там же. С. 239, 259.

[56] Там же. С. 245.

[57] Следует оговориться, что речь в данной статье идет именно о работах строго исторических. Работы специалистов в других дисциплинах, посвященных исторической тематике, мы не рассматриваем.

[58] *Меерович М.* Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство управления людьми. 1917–1937. М., 2008. 304 с.

[59] *Фуко М.* Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. М., 1999. С. 292–306.

[60] *Меерович М.* Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство управления людьми. 1917–1937. С. 30.

[61] Там же. С. 5.

[62] Там же. С. 30, 75.

человеке. Советская власть осуществляла этот процесс в рамках жилищной политики через введение паспортов, трудовых книжек и прописки. Она превращалась из силы, локализованной в мире государственных и партийных органов, в великое множество центров, скрывающихся в «жилплощади» и связанных с ней практиках — изъятиях, распределениях, уплотнениях и т. п. Автор пишет: «Создавая трудо-бытовые (производственно-трудовые) коллективы, власть стремилась решить задачу формирования социально однородного, организованного, контролируемого, управляемого, зависимого, прикрепленного к месту труда и месту жительства человеческого материала»[63]. Автор указывает, что жилищная политика большевиков была средством превращения крестьянина в нового человека — человека единой производственной системы[64]. Автор данного исследования не ссылается прямо на М. Фуко, однако можно с уверенностью сказать, что он использует идеи С. Коткина, а последний, посвятивший свой труд М. Фуко и акцентировавший внимание на понятии «жилплощадь»[65], привел автора уже к идеям М. Фуко.

Другим примером имплицитного использования идей М. Фуко является работа С. Ярова, посвященная конформизму в Советской России[66]. Автор изучает конформизм как практики и сценарии, язык и ритуалы «обращения» людей в большевизм. При этом в анализе конформизма автор следует фактически фуколдианской позиции, согласно которой «конформизм» не есть простое «подчинение» или «согласие», а совокупность техник формирования лояльности[67]. Как отмечал М. Фуко, власть не предполагает полного подчинения и подавления, она предполагает игру сил, воздействие власти и сопротивление ей со стороны того, на кого власть воздействует. Власть предполагает серьезную гибкость и приспособленность одного к другому.

С. Яров доказывает, что эффективность публичных выступлений представителей советской власти была основана не на четком сценарии с набором догм и штампов, т. е. не на прямом воздействии, а на импровизации выступающего[68]. Власть путем не только насилия, но и тактики уловок и импровизаций проникала везде, не давала человеку возможности ускользнуть и замкнуться в своем внутреннем мире[69]. При этом язык власти мог быть использован и как язык сопротивления, — например, термин «эксплуатация» мог быть использован рабочими не только против буржуазии, но и против легализованной большевиками экономической практики НЭПа[70]. Фактически автор показывает, как гибкие тактики конформизма способствовали тому, что советская власть и идеология устанавливались не только сверху, но и снизу. Это также указывало на распыление сильной единой власти, которая только потому и была возможна, что действовала не напрямую, а через множество каналов как извне, так и «изнутри» — через усвоение «правильных слов»,

---

[63] Там же. С. 115.

[64] Там же.

[65] *Kotkin S.* Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. P. 193–194. — С. Коткин также обратил внимание на то, что цель советского жилища выходила за рамки простого обеспечения крышей над головой и была направлена на формирование нового образа жизни.

[66] *Яров С.* Конформизм в Советской России. Петроград 1917–1920-х гг. СПб., 2006.

[67] Там же. С. 5.

[68] Там же. С. 152.

[69] Там же. С. 38.

[70] Там же. С. 234.

большевистского языка и дальнейшего воспроизводства их на практике. Подобно М. Мееровичу, С. Яров не ссылается на М. Фуко прямо, но он использует в своей работе идеи рассмотренных выше С. Коткина и И. Халфина.

Можно говорить о существовании различных вариантов постмодернистского понимания истории: от отрицания принципиальной возможности ее объективного описания до признающих такое описание, но делающих его способом, который полностью отличается от традиционного. Однако любой из описанных выше постмодернистских подходов аннулирует плоскую поверхность традиционной истории, предполагающей наличие универсального языка описания, отсылающего к четким системам стабильных и крупных объектов истории, наделенных неизменной «сущностью», и обнаруживает за ней сложную реальность. В первом случае это сложная реальность языка, полисемантичного и изменчивого, изощренные игры которого создают эффект реальности. Во втором случае это сложная, «газированная» структура самой реальности, в которой множество «пузырьков» постоянно возникают и исчезают, предельно усложняя обнаружение в истории стабильных пунктов описания. Как видим, постмодернистские подходы в истории требуют от исследователя большой методологической смелости и изощренной исследовательской техники, позволяющей решать познавательные задачи вне опоры на традиционные подходы исторической науки.

## References


Ankersmit F. R. *Istoriia i tropologiia: vzlet i padenie metafory*. Moscow, Canon+ Publ.; ROII "Rehabilitation" Publ., 2009, 400 p. (In Russian)

Barthes R. Diskurs istorii. Barthes R. *Sistema Mody. Stat'i po semiotike kul'tury*. Moscow, Sabashnikov Publ., 2003, pp. 427–441. (In Russian)

Barthes R. Ot proizvedeniya k tekstu. Barthes R. *Izbrannye raboty. Semiotika. Poetika*. Moscow, Progress Publ., 1989, pp. 413–423. (In Russian)

Barthes R. Tekstovoi analiz odnoi poemy Edgara Po. Barthes R. *Izbrannye raboty. Semiotika. Poetika*. Moscow, Progress Publ., 1989, pp. 424–461. (In Russian)

Barthes R. Effekt real'nosti. Barthes R. *Izbrannye raboty. Semiotika. Poetika*. Moscow, Progress Publ., 1989, pp. 392–400. (In Russian)

Barthes R. *S/Z*. Moscow, Editorial URSS Publ., 2001, 232 p. (In Russian)

Breisach E. *On the Future of History: The Postmodernist Challenge and its Aftermath*. Chicago; London, University of Chicago Press, 2003, 243 p.

Danilevskiy I. N. *Povest' vremennykh let: germenevticheskie osnovy istochnikovedeniia letopisnykh tekstov*. Moscow, Aspect-Press Publ., 2004, 370 p. (In Russian)

Delez Zh., Gvattari F. *Kapitalizm i shizofreniia. Tysiacha plato*. Ekaterinburg; Moscow, U-Faktorija Publ.; Astrel` Publ., 2010, 896 p. (In Russian)

Derrida J. *O grammatologii*. Moscow, Ad Marginem Publ., 2000, 511 p. (In Russian)

Filyushkin A. I. Postmodernistskii vyzov i ego vliianie na sovremennuiu teoriiu istoricheskoi nauki. *Topos. Filosofsko-kul'turologicheskii zhurnal*, 2000, no. 3, pp. 67–78. (In Russian)

Foucault M. Body/Power. *Foucault M. Power/Knowledge. Selected interviews and other writings. 1972–1977*. New York, Pantheon Books, 1980, pp. 55–62.

Foucault M. The Subject and Power. *Critical Inquiry*, 1982, vol. 8, no. 4, pp. 777–795.

Foucault M. Truth and Power. *Foucault M. Power/Knowledge. Selected interviews and other writings. 1972–1977*. New York, Pantheon Books, 1980, pp. 109–133.

Fuko M. *Nadzirat' i nakazyvat': rozhdenie tiur'my*. Moscow, Ad Marginem Publ., 1999, 480 p. (In Russian)

Halfin I. *From darkness to light. Class, consciousness and salvation in revolutionary Russia*. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2000, 474 p.

Hellbeck J. *Revolution on my mind. Writing a diary under Stalin*. Cambridge, Harvard University Press, 2009, 436 p.

Iggers G. *Historiography in the Twentieth Century — From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge.* Hanover (N. H.); London, Wesleyan University Press, 1997, 182 p.
Kosikov G. K. Rolan Bart — semiolog, literaturoved. Barthes R. *Izbrannye raboty. Semiotika. Poetika*. Moscow, Progress Publ., 1989, pp. 3–45. (In Russian)
Kosikov G. K. "Struktura" i/ili "tekst" (strategii sovremennoi semiotiki). *Frantsuzskaia semiotika. Ot strukturalizma k poststrukturalizmu*. Moscow, Progress Publ., 2000, pp. 3–48. (In Russian)
Kotkin S. *Magnetic mountain: stalinism as a civilization*. Berkeley, University of California Press, 1995, 639 p.
Lyotard J.-F. *Sostoianie postmoderna*. Moscow; St. Petersburg, Institute of Experimental Sociology; Aletheia Publ., 1998, 160 p. (In Russian)
Lotman Yu. M. *Vnutri myslyashchikh mirov. Chelovek — tekst — semiosfera — istoriia*. Moscow, Languages of Russian Culture Publ., 1996, 447 p. (In Russian)
Lotman Yu. M. Struktura khudozhestvennogo teksta. Lotman Yu. *M. Ob iskusstve.* St. Petersburg, Art-SPb. Publ., 1998, pp. 14–285. (In Russian)
Meerovich M. *Nakazanie zhilishchem: zhilishchnaia politika SSSR kak sredstvo upravleniia liud'mi. 1917–1937*. Moscow, ROSSPEN Publ., 2008, 304 p. (In Russian)
Mironov B. N. Prishel li postmodernizm v Rossiiu? Zametki ob antologii "Amerikanskaia rusistika". *Otechestvennaia istoriia*, 2003, no. 3, pp. 135–146. (In Russian)
Repina A. P. Vyzov postmodernizma i perspektivy novoi kul'turnoi i intellektual'noi istorii. *Odissei. Chelovek v istorii. Remeslo istorika na iskhode XX v*. Moscow, Nauka Publ, 1996, pp. 25–38. (In Russian)
Serto Mishel' de. *Izobretenie*. St. Petersburg, European University in St. Petersburg Press, 2013, 330 p. (In Russian)
Southgate B. *History meets fiction*. Harlow (England); New York, Longman Publ., 2009, 215 p.
White H. *Metaistoriia: istoricheskoe voobrazhenie v Evrope XIX veka*. Ekaterinburg, Ural Federal University Press, 2002, 528 p. (In Russian)
Yarov S. *Konformizm v Sovetskoi Rossii: Petrograd 1917–1920-kh gg.* St. Petersburg, European Home Publ., 2006, 570 p. (In Russian)
Yurchak A. *Jeto bylo navsegda, poka ne konchilos`. Poslednee sovetskoe pokolenie*. Moscow, NLO Publ., 2014, 604 p. (In Russian)

Статья поступила в редакцию 30 сентября 2017 г.
Рекомендована в печать 30 марта 2018 г.